



А. СКАБИЧЕВСКИЙ

Новые черты в таланте г. М. Горького

I

Г. Горький в последнее время начинает все чаще делать вылазки из среды своих излюбленных золоторотцев, и мы можем лишь сказать ему: «В добрый час!» Это выводит г. Горького на более широкий простор, дает возможность не в пример более разнообразить свои образы и не повторяться в такой степени, как это ему приходилось с его босяками. В то же время, принимаясь за изображение различных сфер жизни, более знакомых и изученных г. Горьким, он имеет возможность быть правдивее, реальнее, изображать людей русских такими, каковы они на самом деле, а не Ринальдо Ринальдини в картинных плащах и бандитских шляпах с черными перьями¹. По крайней мере, несколько новейших, последних произведений г. Горького, не имеющих ничего общего с босяками, являются не от чего иного, как именно вследствие этого: и разнообразнее и правдивее. Таковы «Варенька Олесова», и вышеозначенные «Кирилка» и «Фома Гордеев».

II

Рассказ «Кирилка» представляет собою прелестную бытовую сценку, но не бесцельно-фотографическую, а заключающую в себе глубокий символический смысл. Но не подумайте, чтобы это был символизм в декадентском духе. Нет, рассказ г. Горького скрывает в себе тот здоровый художественный символизм, какой найдете вы во многих произведениях наших классиков — Крылова, Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Щедри-

на и проч. Одним словом, в бытовой сценке г. Горького, как в микрокосме, отражается то явление, какое мы видим в современной русской жизни, взятой в ее целом. Явление это заключается в том, что на каждом шагу в интеллигентных сферах мы можем слышать, как беспощадно честят мужиков — и спившимися до полного помрачения пьяницами, и лентяями, и лежебоками, отвыкшими от труда и старающимися жить лишь подачками и воровством. Упускают только все эти хулители совсем из вида очень маленькое обстоятельство: именно, что они и едят и пьют, и детей воспитывают, и за границу катаются, и искусствами наслаждаются, — все это на мужицкие деньги.

Так, в рассказе изображается несколько приезжих, принужденных вследствие внезапного вскрытия реки, скучиться на берегу ее в долгом и томительном ожидании прибытия лодок и возможности переправы. Здесь кроме рассказчика были псаломщик Исай, земский начальник Суцов, купец Мамаев. Но более всего обратил на себя внимание рассказчика мужичонка на кривых ногах, в рваном полушубке, туго подпоясанный, перегнувшийся вперед и как бы застывший в поклоне господам. Маленькое, сморщенное лицо его поросло редкой серой бородкой, глаза были спрятаны в мешках морщин, тонкие темные губы были сложены в улыбку, и в ней одновременно соединялись почтительность с насмешкой и глупость с плутовством. Он сидел на корточках, был похож на обезьяну и, медленно поворачивая голову то туда, то сюда, следил за всеми, не показывая никому своих глаз. Из бесчисленных дыр его полушубка высывались клочья грязной овчины, и вся фигура мужика производила странное впечатление: он казался изжеванным, как будто сейчас вырвался из какой-то огромной пасти, пытавшейся сожрать его.

Все скучившиеся проезжие не знали, когда река очистится и пустит их дальше, всем было томительно скучно; в то же время, так как никто из них не ожидал задержки, никто не запасся съестным; все были голодны, а поэтому и злы. Но на ком же было им изливать свою желчь, как не на мужике? И вот началась обычная трепка мужика, благо он был тут налицо.

III

Так, виноватую оказалась не река, а все тот же за все, про все ответчик — мужик. По крайней мере, земский начальник набросился на него с такими словами:

«— Нет, это черт знает что! Я же, ведь, говорил тебе, идиоту, переправь две лодки на эту сторону, а? говорил?»

— Говорили вы... это верно... — виновато ответил мужик.

— Н-ну, а ты?

— Не успел... потому — тронулась она сразу...

— Болван! — Нет, — обратился земский к Мамаеву, — эти... ослы совершенно не могут понимать человеческий язык!

— Сказано — муж-жики-с, — любезно улыбаясь, прошипел Мамаев.

— Раса дикая... племя тупое, умы осиновые... но вот теперь, будем ожидать от усердия земства и распространения им школ — просвещения и образованности...

— Школы... да! читальни, фонари — прекрасно! Я понимаю это... но, однако, хотя я и не противник просвещения, как вы знаете, а все-таки ха-арошая порка воспитывает быстрее и стоит дешевле... да-с. За розгу мужик не платит, а на просвещение с него шкуру дерут хуже, чем розгой драли. Пока просвещение-с только разоряет его, вот что я скажу... Я не говорю — не про свещайте, я говорю — подождите...

— Совершенно так, — с удовольствием воскликнул купец. — Очень бы следовало подождать, потому что тяжело мужику по нынешним дням... Недороды, болезни, слабость к вину — все это, так сказать, под конец его сечет, а тут школы, читальни... Что с него взять, при таком порядке? Совсем нечего с него взять... уж поверьте мне!

— Вам это известно, Никита Павлыч, — убежденно, но вежливо сказал Исай и благочестиво вздохнул. — Еще бы! Семнадцать лет хожу вокруг его! Я насчет учения так полагаю — ежели во благовремении, то оно может принести пользу... всякому человеку. Но ежели у меня в брюхе, извините, пусто — ничему я учиться не пожелаю, кроме как воровству!

— Зачем вам учиться! — почтительно и ласково воскликнул Исай.

Мамаев взглянул на него и искривил губы.

— Вот мужик... Кирилка! — позвал земский. — Вот мужик, — обратился он к нам с некоторой торжественностью на лице и в тоне, — это, рекомендую, недюжинный мужик... бестия, каких мало. Когда горел “Григорий”, он, этот оборванец, этот... комар собственноручно спас шестерых пассажиров... поздней осенью часа четыре, рискуя жизнью, купался в воде, в бурю, ночью... Спас людей и скрылся... его ищут, хотят благодарить, хлопотать о медали... а он в это время ворует казенный лес и схвачен на месте преступления. Хороший хозяин, скуп,

сноху вогнал в гроб, жена-старуха бьет его поленом... он пьяница и очень богомолен, поет на клиросе... имеет хороший пчельник... и при этом вор. Паузилась тут баржа, и он попался в краже трех мест изюму... извольте видеть, какая фигура?..

Вот в каком роде вели путники разговоры, пока голод не довел их до того, что они ни о чем не в состоянии были вести речи, как только о насыщении. Но ни у кого ничего не было, и ближе пяти верст негде было достать хлеба. И представьте себе общий восторг, когда вдруг у Кирилки за пазухой оказалось фунта с два хлеба. Земский без церемонии отобрал хлеб у мужика; затем хлеб был разделен между всеми путниками, кроме, конечно, Кирилки, и как ни отвратителен был этот хлеб, похожий на глину, имевший к тому же запах потной овчины и квашеной капусты, как ни брезговали и не морщились путники, он мигом был съеден до крошки. Затем река настолько расчистилась, что переправа сделалась возможна, подъехали лодки; путники уселись в них и отчалили от берега. Кирилка остался на берегу, но не успели путники отъехать и десяти сажень, как Кирилка с бойким, насмешливым взором, громко закричал:

— Дядя Антон! За почтой поедете — хлеба мне привезите, слышь! Господа-то, путя ожидаючи, краюшку у меня съели, а одна была...»

Не правда ли, какая это прелесть!

IV

«ФОМА ГОРДЕЕВ»

О повести «Фома Гордеев» нельзя сказать, чтоб она была вполне безукоризненна; вы найдете в ней некоторую растянutosть и другие недостатки, которыми страдают произведения г Горького; таковы, например, слишком длинные речи, произносимые некоторыми из его героев, и тем более томительны те из них, которые наполнены поучительными наставлениями отца сыну в духе прописной морали. Подобные речи следовало бы сократить, по крайней мере, наполовину. Не избежал г. Горький и другого своего обычного недостатка: именно — литературно-книжного языка некоторых из действующих лиц, не способных по малообразованности говорить таким языком. Но все эти недостатки выкупаются за то местами поистине перво-классного достоинства.

Раньше всего познакомимся с отцом героя, Игнатом Матвеевичем Гордеевым, который по повести рисуется перед нами во

весь, так сказать, рост, в законченном виде, от колыбели до могилы.

Очень возможно, что Игнат Гордеев один выручит всю повесть, так как это самая удачная личность в ней. До сих пор мы имели дело в рассказах г. Горького преимущественно с лицами конкретными, так или иначе выдающимися из массы заурядных людей. Здесь же г. Горький впервые выступает на почву создания типов. В самом деле, Игнат является перед нами уже не каким-либо выродком и не избранною натурою с байроновским пошибом, но замечательнейшим типом, и к тому же типом вполне народным, принимая это слово в смысле не простонародного, а всенародного, т. е. типа, выработанного особыми условиями русской жизни и в ее прошлом и настоящем. В этом отношении Игнат Гордеев смело может быть поставлен на одном ряду с такими широко обобщающими типами, как дедушка Багров С. Аксакова, бабушка Бережкова Гончарова, князь Куралесов Печерского и т. п.²

В самом деле: если мы возьмем Игната лишь в частности, как тип богатого волжского хлеботорговца, то и в таком смысле он замечателен своею обобщающею широтою. Между тем, в самом деле, он еще общее: это тип исторический. Он напоминает нам и новгородских торговых людей, и некоторых московских царей, собирателей Руси — Иоанна III или Грозного³.

V

Обратим внимание на весьма существенное достоинство г. Горького, к сожалению, очень редко встречающееся в последнее время; именно — полное отсутствие какой-либо односторонней, исключительной точки зрения на своих героев, умение выставлять их всесторонне, принимая во внимание все и хорошие, и дурные их душевные качества.

Так, если того же Игната Гордеева мы вздумали бы смотреть исключительно с точки зрения культурной, то, конечно, ничего не нашли бы в нем, кроме грубого и дикого самодура, вроде Кита Китыча, крутого деспота в семье, не допускающего со стороны своих домочадцев ни малейшего возражения, а тем более самостоятельного шага, необузданно буйного во хмелю, но и в трезвом виде любящего прибегать к кулачной расправе, при каждом случае, когда это может пройти безнаказанно.

Если опять-таки мы начнем смотреть на Игната исключительно с социальной точки зрения, то, в свою очередь, мы уви-

дим в нем лишь дерзкого и наглого эксплуататора, жадного алтынника, заботящегося лишь о наживе и не разбирающего средств для своего обогащения, не только готового на каждом шагу обмеривать, обвешивать, отравлять покупателей гнилятиной, но при случае и ограбить на большой дороге. О жалости к неимущим, об участии к положению униженных и оскорбленных и говорить нечего.

И вот следует поставить в заслугу г. Горькому, что и на подобном нравственном чудовище он сумел раскрыть нам человека, имеющего свои нравственные достоинства, свою искру Божью, и в то же время такую богато одаренную натуру, которая одним этим невольно привлекает ваши симпатии.

VI

В молодости Игнат Гордеев служил водоливом на одной из барж богатого купца Заева, впоследствии же сделался сам миллионером. Г. Горький объясняет этот успех в жизни Игната тем, что «богатырски сложенный, красивый и не глупый, он был одним из тех людей, которым всегда и во всем сопутствует удача — не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям не имеют, даже не могут задумываться над выбором средств и, помимо своего желания, не знают иного закона. Иногда они со страхом говорят о своей совести, порою искренно мучаются в борьбе с нею, но совесть — это сила непобедимая лишь для слабых духом; сильные же быстро овладевают ею и поработают ее своим желаниям, ибо они бессознательно чувствуют, что если дать ей простор и свободу — она изломает жизнь. Они приносят ей в жертву дни; если же случится, что она одолеет их души, то они, побежденные ею, никогда не бывают разбиты и так же здорово и сильно живут под ее началом, как жили и без нее...»

Признаться сказать, разобраться в этой тираде довольно трудно. Г. Горький, очевидно, хочет принести маленькую жертву некоторым новейшим веяниям, сказать нечто в духе Ницше, к учению которого он, по-видимому, не совсем равнодушен. Недаром у него мы замечаем склонность искать среди босяков чело-векобогов, которые при удовлетворении своих дерзких желаний не допускают никаких препон в виде нравственных правил, существующих, конечно, лишь для людей слабодушных, рабов ничтожных.

Понятно, что не в пример легче подвести под учение Ницше какой-нибудь отчаянный поступок босяка, но и здесь мы видим, что в результате вместо отважного удовлетворения божественного желания очень часто ничего не получается, кроме острога и каторги. Совсем иное мы видим в жизни Игната Гордеева. Здесь мы имеем систематическую деятельность, продолжающуюся всю жизнь, закабаляющую человека, делающую его рабом той суетной цели, которою увлекся он, — обогащения. Но для доставления хотя бы и такой эфемерной цели недостаточно, оказывается, одного дерзновения и неразборчивости в средствах. Если бы Гордеев был нервным, капризным, взбалмошным, быстро увлекаясь задуманным, столь же быстро охладевал к нему, наконец, был бы глупым и безрассудным, то ницшеанское дерзновение и неразборчивость в средствах не принесли бы ему успеха в жизни и не сделали бы его человеко-богом, а на первых же шагах привели бы к какой-нибудь ужасной и постыдной гибели.

Но в том именно и дело, что причина успехов Гордеева лежит прежде всего и более всего в богато одаренной природе его, здоровых мускулах и нервах, недюжинном уме, железной воле, трудолюбию, упорстве, энергии и пр. В быстром обогащении Гордеева бесспорно играла немалую роль и неразборчивость в средствах. Но напрасно думает г. Горький, что неразборчивость эта происходила из сознательного дерзновения. Причина ее заключалась скорее всего в слишком страстном увлечении предпринятым делом. Внушения совести при этом не дерзновенно преступались и пренебрегались, а просто забывались, подобно тому, как девушка в экстазе страсти забывает и честь, и стыд, бросаясь в объятия любовника. Но когда страсть удовлетворяется, наступают минуты спокойствия, охлаждения, усталости, тогда просыпается совесть и начинает казнить за все дерзновения. И вчерашний человеко-бог чувствует себя сегодня ничтожным и жалким пресмыкающимся червяком.

Этот переход от дерзновения к уничтожению показывает нам далее сам г. Горький, когда из сферы чистой мысли переходит на более свойственную ему почву художественности.

VII

Так, мы видим, что «в сорок лет от роду Игнат Гордеев был собственником трех пароходов и десятка барж. На Волге его уважали как богача и умного человека, но дали ему прозвище

«Шалый», ибо жизнь его не текла ровно, по прямому руслу, как у других людей, ему подобных, а то и дело, мятежно вскипая, бросалась вон из колеи, в стороны от наживы, главной цели существования этого человека.

Было как бы трое Гордеевых, или — в Игнате были как бы три души. Одна из них, самая мощная, была только жадна, и когда Игнат жил, подчинясь ее велениям, — тогда он был просто человек, охваченный неукротимую страстью к работе. Эта страсть горела в нем дни и ночи, он всецело поглощался ею и, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не мог насытиться шелестом и звоном денег. Он метался по Волге вверх и вниз, укрепляя и настраивая на ней сети, которыми ловил золото: он скупал по деревням хлеб, возил его в Рыбинск на своих баржах; грабил, обманывал, иногда не замечал этого, иногда — замечал и, торжествуя, открыто смеялся над обманутыми им и в безумии своей жажды денег возвышался до поэзии.

И вдруг — обыкновенно это случалось весной, под ее обаянием — «Игнат Гордеев как бы чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его. Он задумывался и, пытливо поглядывая вокруг себя из-под густых, нахмуренных бровей, целыми днями ходил угрюмый и злой, точно спрашивая молча о чем-то и боясь спросить вслух. Тогда в нем просыпалась другая душа — буйная и похотливая душа раздраженного голодом зверя. Дерзкий со всеми и циничный, он пил, развратничал и спаивал других, он приходил в исступление, и в нем точно вулкан грязи вскипал. Казалось, он бешено рвет те цепи, которые сам на себя сковал и носит, он рвет их, и бессилён разорвать. Всклокоченный, грязный, с лицом, опухшим от пьянства и бессонных ночей, с безумными глазами, огромный и ревущий хриплым голосом, он носился по городу из одного вертепа в другой, не считая бросал деньги, плакал под пение заунывных народных песен и плясал и бил кого-нибудь, но нигде и ни в чем не находил успокоения. О его кутежах в городе создавались легенды, его все строго осуждали, но никто никогда не отказывался от его приглашения на оргии. Так он жил неделями.

И неожиданно являлся домой, еще весь пропитанный запахом пьянства, но уже подавленный и тихий. Со смиренно опущенными глазами, в которых теперь горел стыд, он молча слушал упреки жены, смиренный и тупой, как овца, уходил к себе в комнату и там запирался. По несколько часов кряду он выстаивал на коленях пред образами, опустив голову на грудь; бес-

помощно висели его руки, спина сгибалась, и он молчал, как бы не смея молиться. К дверям на цыпочках подходила жена и слушала. Тяжелые вздохи раздавались за дверью — вздохи лошади, усталой и больной.

— Господи! Ты видишь... — глухо шептал Игнат, с силой прижимая к широкой груди ладони рук.

«Во дни покаяния он пил только воду и ел ржаной хлеб. Жена утром ставила к двери его комнаты большой графин воды, фунта полтора хлеба и соль. Он отворял дверь, брал себе эту трапезу и снова запирался. Его так уже и не беспокоили ничем в это время, даже избегали попадаться ему на глаза... Через несколько дней он снова являлся на бирже, шутил, смеялся, принимал подряды на поставку хлеба, зоркий, как опытный хищник, тонкий знаток всего, что касалось дела».

Эти периодические переходы от энергической деятельности, исполненной отважного дерзновения, до забвения каких бы то ни было внушений совести, к столь же необузданным кутежам и затем суровому посту и слезному покаянию, происходили вовсе не от того, чтобы у Игната Гордеева и в самом деле было три души. Это были полосы одной и той же могучей природы, одинаково необузданно-страстной во всех своих проявлениях, и хороших, и дурных. Эта страстность, сила и вместе с тем цельность Игната и привлекают наши взоры, заставляют нас невольно любоваться на него даже в минуты его грязных оргий. Наконец, именно эти самые полосы приравнивают его к старинным историческим русским типам некоторых московских царей, бояр и торговых людей.

VIII

В нашей интеллигентной среде существует ряд проклятых вопросов, которые время от времени с особенною остротою и силою оладевают умами передовых мыслителей и художников, тревожа сердца их и доводя их до мучительной боли. При этом нужно обратить внимание на то обстоятельство, что каждый раз вопросы эти являются под каким-нибудь новым соусом, под знаменем совершенно новых идей, учений, веяний. Молодому поколению кажется потому, что тревожный вопрос представляет совершенно новое, небывалое еще явление, и понятно, что набрасываются на него с особенною страстностью и горячностью; носятся с ним и трактуют его на все лады на всех перекрестках: в романах и повестях, в публицистических и

критических трактатах и проч. А между тем если покопаться внимательнее в прошлом, то окажется вдруг, что наш якобы новый вопрос является весьма старым, что и отцы наши, и деды, и прадеды мучились над ним так же тревожно и так же бесплодно, причем, хотя в прежние времена тот же самый вопрос и являлся под иным флагом, это нисколько не мешает вновь поднявшим его внукам повторять при решении его те же выражения, впадая в те же ошибки и заблуждения. Перед вами, таким образом, происходит словно как бы кружение белки в колесе, или, еще того лучше, крутится вал косморамы⁴ и бесконечно повторяются в одном и том же порядке одни и те же виды городов, портреты знаменитых генералов, кровавых битв, пожаров и т. д.

IX

Одним из таких якобы новых, а на самом деле весьма ветхих вопросов является вопрос, откуда нам взять таких сильных людей для удовлетворения вулканических страстей и титанических стремлений, для которых не существовало бы никаких препонов, ни нравственных, ни общественных, ни духовных, ни материальных. Это искание сильного человека, любование его различного рода дерзновениями и пренебрежениями прописных правил мещанской морали проходит через всю нашу литературу начиная с Пушкина и до сего дня. При этом, конечно, уже каждая эпоха, как я сказал выше, сочиняла своего особенно сильного человека, сообразно тем или другим господствовавшим в разные времена идеям, учениям, веяниям и т. п.

Итак, в эпоху поклонения Байрону сильный и дерзновенный герой издевался над малодушно-трусливою и пресмыкающеюся в ничтожестве толпою в образе разочарованного и скукающего скитальца, не знающего, куда ему приклонить непреклонную голову и где «оскорбленному есть чувству угол». Смешно сказать, что все дерзновения наших москвичей в чайльд-гарольдовском плаще не шли дальше обольщения золотушной дочери отставного секунд-майора или не помнящей родства черкешенки, да убийства легкомысленного и пустоголового юнкера на дуэли. Тем не менее и этих подвигов было достаточно, чтобы Онегины, Печорины и эффектные герои романов Марлинского представлялись обольстительными, кружащими голову идеалами, как для юнцов, так особенно для юниц эпохи Пушкина и Лермонтова.

Затем английский романтизм сменился французским: вместо Чайльд-Гарольда и Манфреда началось поклонение пылающим гражданскими чувствами и преисполненным гигантскими замыслами титаническим героям В. Гюго и Ж. Санд. На смену Онегиным и Печориным выступили Бельтов, Инсаров, Рахметов⁵. Дерзновения этих новых губителей сердец, в свою очередь, не шли далее того, чтобы отбить жену у скромного провинциального учителя, выкупать в канаве пьяного немца или же нагрубить становому на уездном балу. Но этих дерзновений было вполне достаточно, чтобы вышеозначенные герои представлялись недостижимыми идеалами, на которые молились пылкие юноши и которым безропотно покорялись томные девы.

Ныне все подобного же рода искания сильных людей или же сочинения их творятся, как по нотам, по сумасшедшим теориям новомодного философа, пресловутого Ницше.

До каких абсурдов доходит у некоторых современных россиян увлечение философией Ницше, можно судить хотя бы по роману г. Мережковского «Отверженный»⁶. Читая этот роман, невольно приходишь к убеждению, что Ницше, конечно, жил раньше всех веков, если древние эпохи Юлиана рассуждали уже целиком по Ницше. В самом деле, прочтите, что говорит иерофант Максим Юману на стр. 54—55:

«— Куда идти? — спрашивает Юман.

— Выбери один из двух путей и не останавливайся, — отвечает Максим.

— Какой?

— Если веришь в Него, возьми крест, иди за Ним, как Он велел. Будь смиренным, будь девственным, будь агнцем безгласным в руках палачей. Беги в пустыню, отдай Ему плоть и дух, и разум. Верь. Это один из двух путей: великие страсто-терпцы галилеяне достигают такой же свободы, как Прометей и Люцифер.

— Я не хочу!

— Тогда избери другой путь: будь владыкой, будь подобным древним, суровым мужам. Будь сильным, будь гордым, будь неумолимым и прекрасным. Не жалея, не люби, не прощай! Восстань и победи все! Да будет тело твое, как тело мраморных полубогов! Бери и не отдавай! Вкуси от запретного плода и не раскайся! Не верь и познавай! И мир будет твой, и ты будешь, как Титан и ангел, восставший на Бога».

X

Как ни курьезно слушать такие речи из уст людей, живших более полуторы тысячи лет назад, но г. Мережковского все-таки можно кое-как оправдать тем, что ктб их знает, что говорили и думали люди IV столетия? Все что угодно можно им приписать, и они останутся безответными, мирно почия во гробех своих. Но представьте себе, что подобные же речи в ницшеанском духе вы слышите от людей хотя и нашего века, но каких именно? — хлебопеков, сапожников, босяков, занимающихся кражею товаров из баржей, и т. п. Таких диковинных ницшеанцев мы находим у г. Горького, который, по-видимому, с каждым днем все более и более проникается исканием сильных и дерзновенных людей по Ницше.

По правде сказать, весьма характерную черту нашей интеллигенции представляет это вечное искание сильных людей, где бы то ни было и каких бы то ни было. В сущности, по моему мнению, все это не что иное, как «пленной мысли раздражение»⁷, платоническое созерцание голодными людьми вкусных колбас, красующихся за окнами лавок. Мы ничтожны, жалки, мы только и делаем, что малодушно пресмыкаемся. Дайте нам хотя издали полюбоваться на то, какие молодцы бывают на свете, как они ничего не боятся, как стоит им чего-нибудь захотеть, и нет никаких препон к исполнению их желаний. Понятно в то же время, что так как в интеллигентной среде таких отважных людей очень мало и отважные подвиги их, как я говорил уже выше, очень жалки, то ничего больше и не осталось, как, переставши искать титанов и человеко-богов среди титулярных советников и коллежских секретарей⁸, обратиться к другим сословиям, к купцам, мещанам, босякам, что и делает г. Горький. Все герои его рассказов: с одной стороны, отважные мужчины вроде Челкаша, Озорника, Орлова, Коновалова, и пр., с другой — бесшабашные женщины вроде Мальвы, Изергиль, Вареньки Олесовой, — все это в своем роде человеко-боги, сильные натуры, претендующие на вакансии, открывающиеся после выхода в отставку всех прежних титанов, щеголявших во фраках или присвоенных их чину и месту служения мундирах.

Что ж, если хотите, г. Горький в некоторых отношениях и прав. Не Бог ведь какими крупными размерами отличаются демонические дерзновения его новых героев; все они исчерпываются кражею нескольких тюков шелковой материи, отшлепа-

ни-ем мокрою простынею пошлого ловеласа в лице приват-доцента Полканова, или клубным скандалом с мордобитием. Но во всяком случае русский читатель, читая рассказы г. Горького, отдыхает душою, встречая в них людей, у которых в достаточной мере развиты мускулы, в жилах которых течет кровь, а не сукровица и которые способны хоть на вершок отступить от проторенных тропинок и дать волю своему ретивому распотешиться хоть над уездным сплетником или приват-доцентом, вздумавшим пройти насчет клубнички.

XI

В повести своей «Фома Гордеев» г. Горький, как нам известно, ищет дерзновенных человеко-богов в среде волжского купечества, хлебо- и лесопромышленников. Так, мы имели уже случай познакомиться с одним из купеческих человеко-богов в лице отца героя, Игната Гордеева, и я нашел, что это наиболее удачный тип из всех лиц, когда-либо выведенных доселе г. Горьким в разных его произведениях. Главное достоинство этого типа заключается в непосредственности: перед вами действительно сильный человек, не потому только, чтобы он сам хвалился своею силою, стараясь совершать нечто экстраординарное, выкидывать разные коленца и удивлять ими людей. Перед вами просто-напросто один из тех старорусских богатырей, у которых силочка по жилочкам так и переливалась, проявляясь в каждом их слове и жесте. Истинно сильные люди тем именно и отличаются, что они отнюдь не придумывают чего-либо такого, чем бы им отличаться от всех смертных и выставиться напоказ. Они лишь свободно отдаются тем влечениям, какие являются в них совершенно произвольно, представляясь игрою их сил. Игнат очень много резонирует, но все речи его в духе домостроевской морали вполне подходят к его архаическому типу, и ни одного слова из его уст не вылетает такого, которое давало бы ему повод вам думать, что и он, подобно иерофанту Максиму, был знаком с философией Ницше.

К сожалению, в дальнейшем течении повести автор все более и более сбивается на Ницше, и на каждом шагу ему мерещатся человеко-боги там, где странно было бы их и предполагать.

XII

Так, между прочим, выводится купец Ананий Савич Щуров. Это был крупный торговец лесом, имел огромную лесопилку, строил баржи, гонял плоты. В молодости, когда еще был бедным мужиком, Щуров приютил у себя в огороде, в бане, каторжника, и каторжник работал для него фальшивые деньги. С той поры и начал Ананий богатеть. Однажды баня у него сгорела, и в пепле ее нашли обугленный труп человека с расколотым черепом. Говорили на селе, что Щуров сам работника своего убил и сжег потом.

Знал также Фома о Щурове, что старик изжил двух жен, — одна из них умерла в первую ночь после свадьбы в объятиях Анания. Затем он отбил жену у сына своего, и сын с горя запил и чуть не погиб в пьянстве, но вовремя опомнился и ушел спасаться в скиты на Иргиз. А когда померла сноха — любовница, Щуров взял в дом себе немую девочку нищую, по сей день живет с нею, и она недавно родила ему мертвого ребенка.

Казалось бы, что можно было видеть здесь, кроме отвратительных по своему черствому бессердечию злодейств, мерзких преступлений и возмутительной грязи?... В повести мы читаем, между прочим, что такая молва шла о многих богачах города: все они будто бы скопили свои миллионы путем грабежей, убийств, и — главное — сбытом фальшивых денг. Неужели же все подобного рода допотопные герои наживы являются в своем роде человекобогами? Ну, а дерзновение-то их вы не ставите в счет? Легко, вы думаете, вместо благодарности к человеку, которому вы обязаны всем своим богатством, раскрыть ему голову и сжечь его вместе с банею? И вот ниже мы слышим из уст Анания Щурова речи, свидетельствующие, что и он отчасти знаком с философией Ницше.

— Вот все говорят — деньги, — сказал Фома с неудовольствием. — А какая в них радость человеку?

— Мм... — промычал Щуров. — Плохой из тебя купец будет, коли ты силы денег не понимаешь...

— Кто ее понимает? — спросил Фома.

— Я! — уверенно сказал Щуров. — И всякий умный человек... Деньги? Это, парень, много! Ты — разложи их перед собой и подумай, что они содержат в себе? Тогда поймешь, что все это — сила человеческая, все это ум людской... Тысячи людей в деньги твои вложили и вложат тысячи... А ты можешь все их, деньги-то в печь бросить и смотреть, как они гореть будут... И будешь ты, в ту пору, владыкой себя считать...

— Этого не делают...

— Оттого, что у дураков денег не бывает... Деньги пускают в дело... около денег народ кормится... а ты над всем этим народом хозяин... Бог человека зачем создал? А чтобы человек Ему помолился... Он один был, и было Ему одному-то скучно... ну и захотелось власти... А как человек создан по образу, сказано, и по подобию Его, то человек власти хочет... А что кроме денег власть дает?... Так-то...

Наслушавшись таких речей, Фома проникся глубоким уважением к Ананию Щурову и вслед затем начал куролесить, изображая из себя, в свою очередь, человекобога. Надо заметить при этом, что все женщины, с которыми он до сих пор сходил в течение повести, являются не простыми и обыкновенными женщинами, а, в свою очередь, человекобогинями, напоминая собою частью Мальву, частью Изергиль. Вот Фома и ломается перед ними, изображая из себя человека-бога. К сожалению, дерзновения, которыми он бросает пыль в глаза своим героиням, носят характер не столько человеко-божественный, сколько купеческо-самодурский и уездно-кабацкий. Так, первым делом, он долго таскал в клубе за волосы зятя вице-губернатора за то, что тот отозвался дурно о некоей уездной львице, Медынской, назвавши ее кокоткой. Фома и сам был о ней не лучшего мнения, но она успела уловить его в сети своего кокетства, и вот последовала безобразнейшая сцена, которую потом Фома объяснил таким образом:

— Что такое? Хуже я людей? Все живут себе... вертятся, суется, имеют каждый свой пункт... А мне — скучно... Все довольны собой... а что они жалуются — врут, сволочи! Это так они... притворяются для красы... Мне притворяться нечего, я — дурак... Я, брат, ничего не понимаю... я, просто, жить хочу! Я думать не умею... мне тошно... один говорит то, другой — другое... тьфу!

Вслед за тем купец закутил на несколько дней с какими-то темными лицами и потерянными женщинами. В конце концов они очутились на каких-то плотках, где Фомою овладел такой вельт-шмерц, что он уподобился пушкинскому Фаусту: тот, как известно, от скуки приказал Мефистофелю потопить корабль⁹. Фома же велел работнику Степану рубить снасти плота, на котором находила вся компания, для того, чтобы плот унесло рекою и все перетонули бы, наткнувшись на какую-нибудь баржу. Степан так и сделал. Уплывавшие гости начали кричать благим матом, взывая о спасении. Но одна из них, Саша, принадлежа к человеко-богиням, отважно бросилась с

плота в воду и приплыла к тому плоту, где находился Фома. Тот схватил ее за талию, вырвал из воды, и быстро, почти бегом, бросился по плотам к берегу. Она была мокрая и холодная, как рыба, но дыхание было горячо, оно жгло щеку Фомы и наполняло грудь буйной радостью.

— Ты утопить меня хотел?— говорила она, крепко прижимаясь к нему. — Рано еще... погоди...

— Как это ты хорошо сделала, — бормотал Фома на бегу. — Молодчина!

— Ну, и ты не худо придумал... хоть с виду ты такой... смирный...

— А те — все еще орут, ха-ха!

— Черт с ними! Утонут — мы с тобой в Сибирь пойдем... — сказала женщина так, точно она хотела этими словами утешить и ободрить его.

Вот в какие дебри дремучие может завести русского писателя стремление найти где бы то ни было сильных людей!

ХIII

Разбираемая нами повесть заслуживает того, чтобы остановиться на ней подробно, хотя, надо сказать правду, недостатки ее необъятны. Они обнаруживают, что автор или совсем незнаком с техникою беллетристических произведений, или пренебрегает ею. И то и другое очень прискорбно. О первом и главном недостатке мы уже замечали, когда еще имели дело с началом повести. По ознакомлении с повестью в ее целом виде недостаток этот раскрывается перед нами во всем своем безобразии. Мы подразумеваем крайнюю растянутость повести и как прямой результат ее скуку, с какой читаются некоторые ее страницы. Растянутость эта происходит, с одной стороны, вследствие дурной привычки автора вкладывать в уста выводимых лиц бесконечно длинные речи, забывая, что в действительности люди говорят длинные речи перед безмолвными слушателями, лишь когда читают лекции, произносят речи или что-нибудь рассказывают. Во всех прочих случаях они ограничиваются обыкновение коротенькими отрывистыми замечаниями, утверждениями, возражениями и пр., беспрестанно прерываемыми собеседниками. Заставлять поэтому героев произносить длинные речи на разные философские и моральные темы, а собеседников — терпеливо выслушивать их, прежде всего, неестественно.

С другой стороны, отягчает немало повесть то, что г. Горький слишком уж много возится с времяпрепровождением свое-

го главного героя, с его безобразными кутежами, скитаниями и хмельными резонерствами то со своим крестным, то с его дочкой Любашей. Наконец, к чему такая несметная масса ввозных лиц, на одну минуту мелькающих в повести и затем исчезающих без следа, не успевши оставить в вас ни малейшего впечатления? Все это вместе взятое делает повесть крайне тягучею и трудно одолжимою.

XIV

А очень жаль, потому что повесть г. Горького могла бы быть замечательным произведением вследствие того, что обнаруживает в авторе основательное знание быта волжского купечества в том переходном состоянии, в каком оно ныне находится. По крайней мере, по прочтении повести вы приобретете такие сведения об этом предмете, каких вы не почерпнете хотя бы из романа г. Боборыкина «Василий Теркин», а, казалось бы, кому и знать волжское купечество, как не г. Боборыкину, родившемуся и проведшему, как известно, свою юность на Волге.

Так, перед нами разворачиваются три категории современного волжского купечества, резко отличающиеся одна от другой, и в этом различии их как нельзя более ярко выражается дух нашего переходного времени. Так, на первом плане рисуются перед нами мрачные типы дореформенного купечества, с его непроглядною умственной темнотою, домостроевской моралью, диким самодурством, отсутствием всякой культурности и необузданной алчностью, не разбирающей средств для наживы. Таковы отец героя, Игнат Гордеев, крестный Яков Тарасович Маякин, лесоторговец Ананий Савич Щуров и пр. Все они нажились и разбогатели не честным купеческим торговым путем и не мелочным и подлым объегориванием простодушных покупателей, а каким-нибудь крупным душегубством и, вообще, такими нечистыми делами, за которых их деды, отцы или они сами заслуживали каторги. Так, дед Фомы Гордеева разбогател, придушивши проезжего купца; благосостояние Щурова основывалось на фальшивых деньгах, которые работал для него беглый каторжник, очень кстати сгоревший в своей избушке, когда миновала в нем надобность; Луп Резников начал карьеру содержателем публичного дома и разбогател как-то сразу; говорили, что он задушил одного из своих гостей, богатого сибиряка... Кононов лет двадцать назад судился за подлог, а теперь состоял тоже под следствием за растление малолетней;

с ним вместе — второй уже раз, по такому же обвинению — привлечен был Захар Кириллович Робустов и пр.

При всей темноте у этого старозаветного купечества была своя сословная философия, которая вполне естественно вся основывалась на силе и могуществе денег. Мы немного познакомились уже с этой купеческою философиею в устах Щурова, торжественно заявившего в своем разговоре с Гордеевым, что деньги — сила, ум людской, что одни деньги дают власть людям! И еще бы: одной беззаконности, бессилия закона покарать самое крупное, содеянное ими злодейство должно было внушать Щурову и компании сознание той колоссальной силы, какая сосредоточилась в их богатствах. Еще более в этом отношении характерна речь, произнесенная Маякиным на купеческом празднестве по случаю первого рейса нового парохода «Илья Муромец», устроенном хозяином парохода Кононовым. Речь эта характерна в том отношении, что в ней мы видим сознание не одного только могущества туго набитой кошны, но и общественного значения купечества в государстве. Считаю поэтому не лишним привести ее целиком.

XV

«— Господа купечество! — заговорил Маякин, усмехаясь. — Есть в речах образованных людей одно иностранное слово — “культура” называемое. Так вот насчет этого слова я и побеседую по простоте души.

— Энь, куда метнул! — раздался чей-то довольный возглас.

— Шш! Смирно!..

— Милостивые государи! — повысив голос, говорил Маякин. — В газетах про нас, купечество, то-и-дело пишут, что мы-де с этой культурой незнакомы, мы-де ее не желаем, не понимаем. И называют нас дикими, некультурными людьми... Что же это такое — культура? Обидно мне, старику, слушать эти-кие речи, и занялся я однажды рассмотрением слова — что оно в себе заключает? Оказалось, по розыску моему, что слово это значит обожание, т. е. любовь, высокую любовь к делу и порядку жизни. Так! — подумал я, — так! Значит — культурный человек тот будет, который любит дело и порядок... который вообще — жизнь любит устраивать, жизнь любит, цену себе и людям знает... Хорошо! Но коли так, то — люди, называющие нас не культурными и дикими, клеветают и изрыгают на нас хулу! Ибо они только слово это любят, но не смысл его, а мы любим

самый корень слова, любим сущую его начинку, мы — дело любим. Мы-то и имеем в себе настоящий культ к жизни, т. е. обожание жизни, а не они! Они суждение возлюбили — мы же действие... И вот, господа купечество, пример нашей культуры, т. е. любви к делу, — Волга! Вот она, родная наша матушка! Она может каждой каплей воды своей утвердить нашу честь и опровергнуть пустую хулу на нас. Сто лет только прошло, госуда-ри мои, с той поры, как император Петр Великий на реку эту расшивы пустил, а теперь по реке тысячи паровых судов ходят! Кто их строил? Русский мужик, совершенно неученый чело-век! Все эти огромные пароходищи, баржи — чьи они? Наши! Кем удуманы? Нами! Тут все наше, все плод нашего ума, на-шей русской сметки и великой любви к делу! Никто ни в чем не помогал нам! Мы сами разбой на Волге выводили, сами на свои рубли дружины нанимали — вывели разбой и завели на Волге, на всех тысячах верст длины ее тысячи пароходов и вся-ких судов. Какой лучший город на Волге? В котором купца больше!.. Чьи лучшие дома в городе? Купеческие! Кто больше всех о бедном печется? Купец! По грошику, по копейке соби-рает, сотни тысяч жертвует. Кто храмы воздвиг? Мы! Кто госу-дарству больше всех денег дает? Купцы!.. Господа! Только нам дело дорого ради самого дела, ради любви нашей к устройству жизни, только мы любим порядок и жизнь! А кто про нас гово-рит — тот говорит и больше ничего! Пускай! Дует ветер — шу-мит ветла, перестал — молчит ветла... И не выйдет из ветлы ни оглобли, ни метлы... бесполезное дерево! От бесполезности и шум... Что они, судьи наши, сделали, чем жизнь украсили? Нам это неизвестно... А наше дело на лицо!»

Не напоминает ли вам эта речь Маякина известный в исто-рии апофеоз третьего сословия аббата Сиеса?¹⁰ Но, конечно, при всем сознании денежного всемогущества, далеко не ушло бы наше старозаветное купечество со своим храмостроительством и собиранием по грошику в пользу бедных, если бы на почве его не произрос новый фрукт в виде молодого поколения, помазан-ного европейскою цивилизациею и стремящегося переработать российское сыромятное купечество, отцов брюхачей, на новый западноевропейский лад.

XVI

Это выступившее на смену стариков молодое купечество яв-ляется в двух категориях, не имеющих ничего общего между собою.

Представителей первой категории пародирует в повести г. Горького сам герой, Фома Гордеев. В купеческой среде Фома Гордеев играет буквально ту же самую роль, какую играл некогда так называемый «кающийся дворянин». Учился он на медные деньги — купцы-отцы не любили давать своим детям дворянское воспитание, — образование Фомы не превышало среднего учебного заведения. Читал он тоже немного и охоты к чтению не обнаруживал. Тем не менее он был настолько охвачен движением своего времени, наслушался таких речей, рассмотрел столько купеческих безобразий, что получил в конце концов неодолимое отвращение к купеческому делу как к крайне нечестному, бессовестному и бесцельному. И в результате его жизненного опыта получились такие рассуждения:

«— Работа — еще не все для человека... Это неверно, что в трудах — оправдание... Которые люди не работают совсем всю жизнь, а живут они лучше трудящихся... Это как? А трудящиеся — они просто несчастные лошади! На них едут, они терпят... и больше ничего... Но они имеют перед Богом свое оправдание... Их спросят: вы для чего жили, а? Тогда они скажут: нам некогда было думать насчет этого... мы всю жизнь работали. А я какое оправдание имею? И все люди, которые командуют, чем они оправдаются? Для чего жили? А я так полагаю, что непременно всем надо твердо знать — для чего живешь?.. Неужто затем человек рождается, чтобы поработать, детей народить и умереть? Нет, жизнь что-нибудь означает собой... Человек родился, пожил и помер... Зачем? Нужно, ей Богу, нужно сообразить всем — зачем живем! Толку нет в жизни нашей!.., никакого нет в ней толку! Потом — не ровно все... это сразу видно. Одни богаты — на тысячу человек денег у себя имеют... и живут без дела... другие — всю жизнь гнут спину в работе, а нет у них ни гроша... А между тем разница в людях малая... Иной без штанов живет, а рассуждает так, ровно в шелка одет».

Но из всех подобных рассуждений Фомы ничего не выходило, кроме одних праздных речей. Перед нами беспочвенный романтик, при всех своих благородных порывах неспособный ни к какому мало-мальски благородному делу, полезному для себя или для других, — сила исключительно отрицательная, без малейших задатков какого-либо творчества. В то же время положение его оказывалось не в пример хуже, трагичнее, чем то, в каком находились кающиеся дворяне. Кающийся дворянин, раз он искренне раскаялся, сейчас же делался свободным идти на все четыре стороны. Разоренные родители могли вслед ему посылать бессильные проклятья за измену дворянским прин-

ципам, но не в силах были остановить их бегство из дедовских усадеб, тем более что самое разрушение этих усадеб оправдывало беглецов. Совсем в другом положении находятся «Фомы Гордеевы»: отцы, во всеоружии своей всемогущей денежной власти, имеют возможность загородить все пути к бегству куда бы то ни было своим ослушным чадам. В крайнем же случае к их услугам является опека над ослушником, как над умалишенным, и заключение в желтый дом.

При таких условиях все стремления Фомы как бы то ни было и куда бы то ни было вырваться из ненавистой ему купеческой среды разбиваются, как о каменный утес, о непреклонную волю крестного Маякина, и, видя, что «все крылья у молодца связаны и все пути ему заказаны», Фоме остается прибегнуть к обычному исходу безвыходного рабства — пуститься во все тяжкие, что он и не замедлил привести в исполнение. Наведя ужас на весь город своими безобразными кутежами и скандалами, он допился, наконец, до чертиков и в припадке белой горячки на пиршестве у Кононова после вышеприведенной речи Маякина разразился такими неистовыми филиппиками против купечества вообще и каждого из пирующих в частности, что его тут же связали по рукам и по ногам. Затем Маякину ничего уже не стоило отправить его в дом сумасшедших и назначить над ним опеку.

По выходе из больницы он был отправлен Маякиным куда-то на Урал, к родственникам матери, а затем, вернувшись в город, поселился у сестры, на дворе во флигельке, и начал появляться на улицах города истертый, измятый и полоумный, почти всегда выпивший, то мрачный, с нахмуренными бровями и с опущенной на грудь головой, то улыбающийся жалкой и грустной улыбкой блажененького. Знающие его купцы и горожане часто смеются над ним, кричат ему вслед: «Эй, ты, пророк! Подь сюда! Ну-ка! Насчет светопредставления скажи слово, а? Хе-хе-хе! Про-орок!..»

XVII

Ко второй категории молодого купечества принадлежат молодые люди из купеческих семей, получившие высшее образование, общее или техническое, понаметавшиеся за границу в европейских порядках и вернувшиеся на родину с непреклонным намерением превратить русское купечество в коммерсантов и негоциантов на западноевропейский лад. К подобным но-

ваторам отцы не относятся уже как к блудным и погибшим сынам, а, напротив того, видят в них достойных преемников и предвестников еще большего расцвета купеческого всемогущества.

В повести г. Горького являются два представителя этих новых людей. Таков сын Маякина Тарас. Он, подобно Фоме, начал протестом, вследствие которого был сослан в Сибирь на поселение на шесть лет в Ленский горный округ. Отец, конечно, проклял его и запретил произносить его имя в доме. Но, отбыв срок наказания, Тарас вступил на новый путь, определился в контору управляющего золотыми приисками Ремезевых, прослужив у него два года, женился на его дочери и затем вместе с тестем завел содовый завод, доставлявший на его долю около пяти тысяч дохода.

Но Тарас мало выяснен и рисуется в повести неопределенными чертами. Зато как светел месяц сияет перед нами истинный представитель молодого купечества, непомянутый ни малейшим пятнышком, Африкан Дмитриевич Смолин. Как нельзя более ярко описывается он в следующем разговоре его с будущим тестем, Маякиным.

«— Я около четырех лет тщательно изучал, — ораторствовал Смолин, — положение русской кожи на зарубежных рынках. Печальное и скверное положение! Лет тридцать тому назад наша кожа считалась там образцовой, а теперь спрос на нее все падает, разумеется, вместе с ценой. И это вполне естественно — ведь при отсутствии капитала и знаний все эти мелкие производители-кожники не имеют возможности поднять производство на должную высоту и в то же время — они прямотаки повинны перед Россией в том, что испортили ее репутацию производителя лучшей кожи. Вообще мелкий производитель, лишенный технических знаний и капитала, стало быть, поставленный в невозможность улучшать свое производство соответственно развитию техники, такой производитель — несчастье страны, паразит ее торговли...»

— Мм... — промычал старик Маякин, — так значит, твое теперь намерение — взбодрить такую громадную фабрику, чтобы всем другим — гроб и крышка?

— О, нет, — воскликнул Смолин, плавным жестом отмахиваясь от слов старика. — Зачем обижать других? Какое я имею право на это? Моя цель — поднять значение и цену русской кожи за границей, и вот, вооруженный знанием производства, я строю образцовую фабрику и выпускаю на рынки образцовый товар... Торговля, честь страны...»

При этом на вопрос Маякина, о каком он мечтает проценте, Смолин отвечал скромно, но внушительно:

«— Я не мечтаю, я — высчитываю со всею точностью, возможной в наших русских условиях. Производитель должен быть строго трезв, как механик, создающий машину... нужно принимать в расчет трение каждого самонаименьшего винтика, если ты хочешь делать серьезное дело серьезно. Я могу дать вам для прочтения составленную мною записочку, основанную мной на личном изучении скотоводства и потребления мяса в России».

Далее в разговоре с Маякиным Смолин заявил, что он вместе с некоторыми своими товарищами, такими же, как и он, молодыми из ранних, собирается купить местную газету и таким образом забрать в свои руки прессу.

«— Издание газеты, — поучительно заметил он, — рассматриваемое даже только с коммерческой точки зрения, — может быть очень прибыльным делом. Но, помимо этого, у газеты есть другая, более важная цель — это защита прав личности и интересов промышленности и торговли...»

Фельетонист Ежов был как нельзя более прав, когда заметил, что либеральные купцы новейшего чекана, вроде Смолина, представляют собою помесь волка и свиньи с жабой и змеей...

